



Юрий Казарин

ГЛИНА

Москва
«Русский Гулливер»
2014

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
К 14

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

*Руководитель проекта Вадим Месяц
Главный редактор серии Андрей Тавров*

Казарин, Юрий

К 14 Глина. Стихотворения. — М. : Русский Гулливер;
Центр современной литературы, 2013. — 168 с.

Юрий Викторович Казарин род. в 1955 г. в Екатеринбурге. Работал на Уралмашзаводе, служил на Северном флоте. Окончил филфак УрГУ. Автор нескольких книг стихотворений и научной прозы. Стихи публиковались в периодике России и зарубежом. Доктор филологических наук. Профессор УрФУ. Живет в дер. Каменке на реке Чусовой.

Стихотворения в книге располагаются в хронологическом порядке.

ISBN 978-5-91627-144-7

© Ю. Казарин, 2014
© Русский Гулливер, 2014
© Центр современной литературы, 2014

РУССКИЙ
ГУЛЛИВЕР

Пёрышко чьё-то прилипло к порогу —
это с большого крыла.
Сад облетевший упал на дорогу,
всё, что осталось, — метла.

Будет сподручно и ветру и Богу
осень смахнуть со стола...

Время ворует себя понемногу —
так, чтобы вечность была.

Лицо прекрасное, лицо беды.
Вплывает в засуху стакан воды
на златоусте лермонтовской сабли.
Не пролилось ни капли.

Ещё во сне лицо твоё. Во сне,
который снится Лермонтову. Не
сопротивляется красавица беда.
Клинок отточенный, гранёная вода.

Клинок отточенный. Гранёная вода.

1.

Не с горя, нет, не с перепугу
ночь белоглазая бледна —
вдоль неба ливень гнал округу
и выпивал её до дна.
Там вечность слуху не помеха —
и влаги шум, и кровь твоя.
И выворачивалось эхо
в именованье бытия.
Когда ты шёл, не зная броду.
Когда вода упала в воду
с недвижимой скоростью сверла.
Когда Елена умерла.

2.

И снова Бог заплачет надо мной
я смерть свою к моей любви ревную
и высота срастётся с глубиной
в отчётливую линию прямую
и ливня повсеместная метла
густеет и растёт из водостока
и ангелу с метлою одиноко
Елена умерла.

Не над бочкой, а прямо над бездной
без беды, без любви, без труда
между небом и плёнкой небесной
белый трепет расплющит вода.
Это бабочка. Это распятые.
Растяжение влаги. Стекло.
Это выдоха светлое платье
на холодную воду легло.
Это взгляда распах и суженье,
и сетчатки разрыв, и звезда,
упираясь в своё отраженье,
остаётся во мне навсегда.

Детское мужество, взрослые страхи
на голубом закипают глазу.
Выкрутишь из пропотевшей рубахи
боль неизбывную, Божью слезу.
Мутная — освобождает ресницы,
чудо вытягивая из беды,
чтобы нагнуться, прозреть и напиться
здесь, на земле, у последней воды.
Смотришь в неё с голубым полыханьем
льда или пекла из сердца земли,
будто хрусталь с потускневшим дыханьем
близко, как бездну, к глазам поднесли.

О. Седаковой

1.

В прошлом году, вчера,
я наловил плотвы —
чистого серебра,
истой синевы —
и в чешуе персты
подлинной высоты
даже впотьмах видны
прямо из глубины.

2.

Слух оторвать от звука,
зрение — от огня:
произнесёт разлука
истину сквозь меня:
ты полетай немного —
вымети облака,
чтоб доросла до Бога
лесенка мотылька.

Кто мне веки горькие поднимет,
разлепив разлуки мёртвый мёд...
Дождь тебя, как дерево, обнимет,
ознобит, осиной назовёт.
Мёртвый дрозд — откуда он, откуда
утром, ниже неба, на крыльце...
Сколько в нём и ужаса, и чуда.
Сколько смерти в этом мертвце.
Всю забрал, большую, на рассвете.
И теперь в округе благодать.

У, какая горечь в сигарете,
то есть в жизни, я хотел сказать.

И после смерти я умру
ещё не раз, перелетая
от чернозёма к серебру.
И вдруг — заминка золотая,
щербинка, вмятинка. С какой
печалью тянется по свету
пространство, нежностью, тоской
и болью сжатое в планету.
Недооплаканная, ты
глядишь из всех разбитых стёкол,
которые из немоты
я прошлой кровью недотрогал.

Я к вам ненадолго — я в гости,
послушать, как уточка вдоль камыша
из воздуха ржавые гвозди
вытаскивает неспеша.
А значит, я к первому небу успею,
уже начинается взгляд.

Пять ласточек, в Кассиопею
построившись, в небе стоят.

Близорукий туман, дальноркая тьма
уводили меня молодого с ума,
как с холма, мимо бездны, в долину
к винограду, влюблённому в глину,
где дарует кувшину гончарная печь
гул и клёкот толкучий над чашами — речь,
поднебесную нёбную сушу —
не звучанье, а самую душу.
Три тумана сошло с побледневшей реки,
и на глине безводной стоят рыбаки,
упираются в донное темя,
тычут вёслами в чистое время.

В. Бабенко

Кто-то вскрикнул: «Баба Настя!» —
где-то в небе, высоко.
Сыплет смутное ненастье
вкось сухое молоко.
Вязнет солнышко на хлебе.
Дождик к горлу подошёл...

Лишь бы тот, который в небе,
бабу Настю не нашёл.

Но кто-то за спиной —
как женский крик ночной,
безрукий, рукопашный —
невидимый, но страшный —
не ходит, не стоит,
он явлен ниоткуда
последний смертный стыд,
преображённый в чудо.
Ну, здравствуй, тень моя
из ужаса и дыма.
Ты — имя бытия,
но ты неуловима.

То шмель пинается. То муха
Гомера вытянет из тьмы.
То тишина. То гибель слуха
в грядущем шорохе зимы.

Из леса, брошенная всеми,
осина вышла. И окрест
она стоит одна, как время.
Как крест пылающий. Как крест.

Сивый, больной, поддатый,
жизни на три копейки —
вот деревенский Данте
в валенках, в телогрейке,
в думах, в своей простуде,
вечно в обнимку с твердью:
ангелы — это люди,
переболевшие смертью.

Прошла гроза, хорошая гроза,
стремительно, как в радости — страданье,
переливая страшные глаза
из мироздания в мирозданье.
Могучая таинственная связь
моей земли, эфира и озона —
как будто пашня в небо поднялась,
и облака — как призрак чернозёма.
И в небесах увидишь мужика,
склонившегося над хрустальным плугом.
Сейчас он перепашет облака
и поперёк, и вдоль, и полукругом.
И станет тесно между двух зеркал:
в одном — душа, в другом — душа и тело.
В одном я к жизни новой привыкал,
в другом она цвела и зеленела.
Гроза идет, хорошая гроза,
и за руку сквозь свет ведёт рябину,
переливая синие глаза
из глины в глину.

Всё перед снегом пахнет солью.
Сидим, чужие, у огня:
вот небо с головною болью,
из неба пушенной в меня.

Вот, насосавшись смерти, пчёлы
почти рассыпались, как свет,
как переходные глаголы,
переходящие в предмет.

Запахло снегом и Гомером,
и деревенским Данте. Да,
и осенью, где водомером
не исцарапана вода.

Шаги, шаги, шаги, а человека нету.
Но чувствую, сейчас попросит сигарету.
И спички... И ещё... Ну, в общем, огонька,
чтоб от него в горсти — прозрачная рука.
И видно сквозь ладонь Вселенную в горсти —
как сердце на весу — и глаз не отвести.
Ты весь теперь глаза — и глаз не отведёшь.
Вселенная в горсти, малиновая дрожь.

Чертополоху-чуду
хочется только взгляда.
Бог обитает всюду,
не выходя из сада,
в общем-то, из любого,
лишь бы была рябина,
чтобы большое слово
губы твои любило,
чтобы в стихотворенье
высветилась слеза:
это, конечно, время
щиплет тебе глаза.

Уже сентябрь. Светлеет только в семь.
Жизнь — это сон, который снится всем,
когда в стекло оконное синица
себя саму, бессмертную, клюёт:
смерть — это жизнь, которая приснится,
но кто её, проснувшись, проживёт?..

На расстоянье вытянутой — здесь —
руки, разлуки, памяти я весь
почти исчез. Так в дальнем разговоре
не слышно слов, но что-то шепчет море.
Как хорошо, что жизнь всего одна.
Большой реке в наклонном русле тесно:
отняв себя от глиняного дна,
она встаёт, как вечный дождь, отвесно
и льётся вверх, в мерцающую тьму,
навстречу возвращенью своему.

Ночью проснусь от крика.
Дождик не вяжет лыка,
зеркало пьёт свечу..
Это не я кричу.
Выйду из тесной боли
в сад, где светло от воли:
влаги набравши в рот,
миром земля растёт.
Так постою немного,
может, увижу Бога —
не убоится льда
глиняная вода.

Хочешь, осиной буду:
дерево отовсюду
видит тебя — оно
любит смотреть в окно
и озираться в поле,
тронув слезу с небес,
чтобы по доброй воле
не возвращаться в лес, —
птицу пошлёт на гору,
высмотрит из-за крыш,
как ты, прильнув к забору,
мертвой сосной стоишь.

Летишь и видишь сквозь крыло
косой распах озёрной пашни,
где, как слеза, растёт стекло,
креня колодезные башни.

Лопатой сладкого леща,
его веслом — какая лопасть, —
как плащаница, трепеща,
хрустальная двоится пропасть,
сквозит и ширится, пока
сама в себе не отразится,
как налетающая птица
в озябшем оке рыбака.

Когда с фонариком рыбачишь,
ты как светило что-то значишь
и пирамиду глубины
ведёшь вершиной от волны.
В ней рыбы долгие летают,
сухое золото глотают,
текущее из фонаря
в глухие норы октября.
Твердишь: Державин, Данте, Дратва,
а на мостках сидит ондатра
и, задержав глубокий вдох,
молчит и спрашивает: Бог?
А ты фонариком посветишь
куда-то вверх — и не ответишь.
Вздохнёшь — и ангельскую дрожь
в разбитом сердце унесёшь.

Еще до слова, до начала,
светясь без плоти и огня,
я слышал смерть — она молчала
и проходила сквозь меня.

И ослепительные ночи,
и утомительные дни
казались вечности короче,
но были вечностью они.

Вселенной головокруженье
пытаешься остановить,
чтобы молчать после рожденья
и после смерти говорить.

Не снегопад, а призрак речи.
Как сгусток речи — кровь во мне.

Над печью дом расправит плечи,
и хрустнет косточка в окне.

О это гибельное чудо —
речь несказанная. Оно
болит бессмертием, покуда
в глазах от белого темно.

Лети, лети, снежок последний —
как первый Божий нежный гнев,
заглядывая в мир соседний,
от неземного побледнев.

С.

Кто ягнёнка белого поставил на крыльцо?
Ах, у снега первого Господа лицо.
По утрам у Господа детское лицо.
Он ягнёнка белого поставил на крыльцо.

Так полюбить белизну,
небом прижатую к крышам:
белка бинтует сосну
серым и рыжим.

Долго пришлось умирать,
чтобы очнуться и выжить.
Воду в морозе стирать —
выкрутить, вытянуть, выжать
прямо в сосульки... В горсти
лёд истончается в блюде...

Просто уйти
и не вернуться.

Это твоя зола
пальчиком провела —
пеплом неуловимым,
бывшим огнем и дымом, —
по кадыку, виску,
чтобы открыть тоску.

Пепел не взять в шепоть —
полуистлела плоть,
словно без тьмы и света
выдохлась сигарета:
с неба мизинчик лёг —
дерево не прожёт.

Скатерть белым-бела:
как ты во мне росла,
глину мою рвала,
как ты меня сожгла —
знает твоя зола.

Гора сухой воды.
С нее текут следы
в мерцающую бездну,
где я сейчас исчезну:
войду с дровами в дом
и опущусь у печки...

Как рыба подо льдом
в полупрозрачной речке,
я шевелюсь едва,
когда согласишься сверху,
где звон и синева
Твоя подобна эху
зеленоватых льдин —
такая глубина.

Один. Один. Один.
Одна. Одна. Одна.

Одеты в пустоту поля и перелески,
одето в небо всё, что жаждало его.
Врезается в лицо не рыболовной лески
прозрачное ничто, а взгляда вещество.
И ширится во мне мое исчезновенье:
такой простор во мне, что, кажется, и нет
меня, а только есть последнее мгновенье,
явившее восторг, переходящий в свет.
Но я еще дышу, шепчу, и горечь дыма,
как слово из огня, полощется во рту,
и всё, что навсегда теперь неуловимо,
одетое в меня — одето в пустоту.

Уста в земле и привкус клятвы.
Прикус земли — твой рот в земле.
Подошвы губ взыскиют дратвы
и капли света на игле.
И чёрствой нитью — на живую —
земли младенческую дрожь
прошьёшь, и сказку корневую
спасёшь — да в губы не возьмёшь.

Овчина звёзд — какая ноша
и стужа нежная планет:
так реет снежная пороша,
когда шлифуют белый свет.

И дымный дых, и пыльный шёпот,
потрескивая и шурша,
из душ выпытывают опыт —
и плачет старшая душа.

И в тёмном веществе печали
плывёт фонарик золотой,
качая мир по вертикали
над глубиной и высотой.

Ты — боль, и ты по воле духа,
в живом усиливая дрожь,
в разрывах воздуха и слуха,
в разрывах времени — поёшь.

Отсверкали, отмерцали
зимних звёзд земные сны —
и в сугробах от печали
стало меньше белизны.

Не весна, а в небе яма —
звёздной стужи седина.
И земля восходит прямо
в бездну дерева без дна.

Востекает дятлу в темя
из древесной глубины
окольцованное время
в тёплом золоте сосны.

Времени древесный свиток —
топора сырая сыть,
где сосульки от улиток
янтаря — не отличить.

Усилиями зренья и погоды
всё в инее. Его густые всходы
пострижены пятнадцать раз на дню.
О батюшки, пронзительные светы:
вон жизнь стоит, как пепел сигареты,
сгоревшей без затяжки на корню.
Я стужу пил и потому согрелся,
и всякий Бог легко в меня смотрелся,
как в зеркало, и видел глубину —
свою, мою и всё-таки одну.
Пороши пересол сверкал вокрут,
и сумрака хрусталь был тверд и светел.
И, мертвый, я себя живого встретил —
и взял себя, живого, на испуг:
мол, жив еще, и зеркало в тебе
не вытерто до дыр и полыхает,
и юная простуда на губе,
слепая, в нем, как бабочка, порхает.
Поцеловал наш холод на земле
и вышел вон из декабря наружу
в иную бездну, в музыку и стужу..
Но бабочку оставил на стекле.

7-е января

Сугроб подшит, как валенок: травой,
малинником с последней головой
репейника, расклёванной щеглами.

Земля накрыта главными глазами:
они подъяли спящие кусты.

И в небе шевельнулся гул чердачный...

Ночной фонарик выпил дым табачный
и голубой трубой всосался в сад,
как Божий взгляд.

У снегов растут ресницы
до небесной полыньи.
Зябнут ангелы и птицы —
дети малые мои.
На окошке косит шторку
шевеленье детворы:
вечность тянет санки в горку,
время катит их с горы.

Семь дырочек в древесной самокрутке —
семь сквозняков, берущихся в шепоть.
И воздуха верёвочку из дудки
вытягивает с музыкой Господь.

Все семь небес сквозь дудочку — всё туже.
Семь выдохов и главный мой, восьмой,
из бездны и огня, тепла и стужи
освобождается — прямой.

И музыки начальное удушье
так натянулось, что оборвалось.
И всюду плачет дудочка пастушья,
измученная музыкой насквозь.

Нет имени у глаз — они ночное небо:
и звёзды, и сирень, и твой чертополох.
Без хлеба на столе немеет имя хлеба:
он голод по отцу, а голод — значит Бог.
И ты идешь с дождём обочь, попеременно.
Ни смерти, ни любви — сплошные зеркала.
Есть имя у беды — её зовут Елена,
нет, Лесбия — она от счастья умерла.
Ни смерти, ни любви — и вечность между ними —
без времени, когда смеркается оно.
Но как тебя зовут, неведомое имя,
когда всю ночь глаза твои глядят в окно?..

Не лицом — посмертной маской
прижимаешься к печи.
Только бабьей безопаской
злые вены не строчи.

Стой на лапах перебитых,
волк, морпех, чертополох.
Если память — это выдох,
значит, будущее — вдох.

Может быть, еще вздохнётся...
Из печной трубы пошло
прямо в небо — из колодца —
убиенное тепло.

Сначала тень — потом сорока,
и снова снега пустота.
И длится с северо-востока
очей хрустальная верста.

Не отвёдешь глаза от стужи —
так слёзы твёрдые утри
морозу, спящему снаружи
или палящему внутри.

Взгляд пропадает где-то —
птицей мелькнёт в окне,
полный иного света,
но не вернется, не
вспомнит слезу, и веко
красное, и тебя —
серого человека,
плачущего в себя.

Прекрасен на земле чертополох,
когда летишь сквозь небо золотое
и с Богом разговаривает Бог,
заглядывая в зеркало пустое.
Есть в воздухе и звук, и слух, и дым,
и в небесах пылает костяника.
И тишина стоит, как тень от крика,
отброшенная ужасом твоим.

На кладбище, где смерти нет совсем,
я хлеба воробьиного поем.
Сосновой шишкой к столику прижму
червонца два, оплачивая тьму
и чье-то нищенское счастье.
Потру запястье.
Лягу на траву.
И смерть сюда живую призову,
чтоб душу без хозяйственного мыла
слезой омыла.

Капелью хлещет, хворостиной
воды из слез, из ничего.
Займется грязью, жизнью, глиной
зимы сухое вещество.

О, сколько в оттепели яду
без гноя, гнева и огня...
И тает снег навстречу взгляду
земли, не помнящей меня.

В России дождь. В Его проходке
не волны в валенках одни —
мальчишки видят из-под лодки
Его огромные ступни.
Прозрачные темнеют пальцы
и пятки, вдавленные в пруд.
А дальше аисты-стояльцы
сухую лапку берегут.
Сухую — к сердцу поджимают
и, горло вечностью продув,
не умирая, поднимают
к лицу дождя холодный клюв.

Смерть тебе сходит с рук.
Вот завершает круг
боль на собачьих лапах.
Мир — это свет и звук,
всё остальное — запах
снега, потом цветов,
горечи слёз и дыма...
В общем-то, я готов.

1.

Душа-невидимка — но дымка,
но сумрак, но тень и тоска...
Но чёрную ленту волынка
натянет — и лопнет река.

2.

Дыханье ледохода. И к Алтаю
лицом — я вижу снегопад в раю,
как будто я свои глаза глотаю,
когда — в слезах — не плачу, а пою.

Зеркало сказало: умираю.
Вот и занавесили его:
древесину света, а по краю —
щепочки. И больше ничего.

Вот и не двоится воздух в жесте,
не смахнешь солёную слюду.
Проведешь очами против шерсти
мира, полюбившего беду..

В високосном, Господи, году.

Слышу звон топора, вьюрка —
в этой стуже наверняка
нехолодное есть местечко.
И летит снегиря сердечко
в сердце Божьего языка.

Ох, топорика синь флажок —
и сосновый прилип кружок
к топориному заусенцу..
А на правом плече снежок,
а на левом плече ожог —
ближе к сердцу.

О. Седаковой

О шелестящий звук,
словно ладошки в мыле.
Ласточку уронили,
выпустили из рук
в небо из неба и
прямо из сладкой муки —
это глаза твои
небу целуют руки...

Здесь воздух болен осязаньем.
Мороз. В доске звучит сучок.
И грозно перед замерзаньем
вода сужается в зрачок.
И там, где ласточки из крови
моей восьмёрки вили, — там
воронами насупил брови
Господь, идущий по пятам.

Зелени первой овалыцы —
призраки пальцев. О, пальцы
Бога сюда привлекло
новое наше тепло.

Медленно выйдешь из дома
в чистую грязь чернозема,
зная, как в мягкой горсти
дереву сладко расти.

Наполовину снег: о племя, стремя, бремя —
так гнёт свое вода, качнувшая кадык.
У, закусив губу, сдержать в себе, как время,
как Гоголя — земля, свой бабий русский крик.
И зеркало разбить. О, не к добру... Но честно,
порезавшись, собрать лучистые кресты,
чтоб отразить в себе и страшно, и отвесно
два лика — глубины и высоты.

Воды недвижимое мгновенье —
в плеве небес, в ночном соку:
огромное прикосновенье —
без поцелуя — к мотыльку.

На озере — тесней ожога —
не разрывается кольцо.
И словно круглый локоть Бога
всплывает рыбе колесо
и длит недвижимое движенье
по вертикали у виска,
преображая повторенье
огромной смерти — в мотылька.

Снимаешь иней, тень, углы,
овалы, линии, ложбины,
потом приходишь до иглы,
до ужаса, до сердцевины,
до имени того, что — свет,
того, чем боль твоя убита,
того, чего на свете нет,
того, что инеем покрыто.

Где-то молча пили, пели,
осушая зеркала.
Ночью смерть на край постели
не присела — прилегла:
привела живую глину
из подземного села,
чтоб онадохнула в спину
и за плечи обняла...

В слепой росе, в дремоте комариной
паук наловит капель паутиной
и выпьет крепко: сладкая, всегда
его хмелила новая вода.
Потом пойдёт в деревню к магазину
понюхать влажных женщин и бензину.
Потом — домой, пугая воронье.
Потом пропустит душу сквозь ружьё —
и целой жизнью выстрелит в неё.

Смотреть слезами в темноту
и видеть, горькими, сиянье
того, что держит высоту
и дарит зренью осязанье...

И дышит солью мирозданье
с холодной музыкой во рту.

Попробуй птичье говорение
устаи мёртвыми вполне —
вода расставит ударение,
как восемь камешков на дне
ручья, мышления, течения,
небес, колеблющихся в ряд,
когда молчанье и мучение,
обнявшись в сердце, в горле спят..

Так только птицы говорят.

Бабочка сядет и крылья в шепоть
сложит, и воздуху вылепит плоть:
так — с поцелуем в два пальца, вслепую,
ловят свечу золотую,
щиплют огонь, как ресничку и мох —
выдохом Господа полнится вдох
всех, кто сквозь смерть своей кровью присох
к небу, земле или звуку,
вечно вращая в разлуку,
переливая в родную ладонь
свой оживающий влажный огонь:

бабочка всюду порхает —
кто её так выдыхает...

Лодка. Рыбачий домик.
В небо водой гляжу.
Воду держу в ладонях —
крепче земли держу.

Даже когда исчезну
тысячу раз подряд —
будет тревожить бездну
мой бесконечный взгляд.

Когда к тебе вернётся память взгляда,
тебя уже не будет. С высоты
тобой прижмётся черная громада
к озёрам, из которых смотришь ты.
Въезжают в очи звёздные полозья,
и разбивает зеркало таймень,
сгущая комаров дымящиеся гроздья
в гудящую и серую сирень.
И зеркало разбитое сойдётся
само в себя, выглаживая швы.
И сердце содрогнётся
от новой синевы.

Прекрасен ужас воскрешенья,
от бездны до глазного дна —
разрывы сердца, боль и жженье —
боль воскрешённого нежна.

Боль возвращенья ниоткуда —
обыкновенная беда,
неудивительное чудо,
происходящее всегда.

Я в зеркале себя не узнаю,
где, как вода, я сам в себе стою,
где мертвого себя я обнимаю —
водой живой и мёртвой умываю.

Где карее я карим уловлю —
и всех родных, во мне живущих, вижу:
как я себя бессмертного люблю,
как я себя живого ненавижу.
И смертью молодую вечность пью,
и всё, до капли, жизнью допиваю,
и далеко от боли заплываю
сквозь две воды — в последнюю мою.

Так море движется и снится,
и говорит — и мир оглох.
И в дерево влетает птица,
а вылетает — Бог.

Как сон во сне — я море слышал
и плакал, сам себе чужой,
как будто я из сердца вышел
и стал душой.
Как будто умер я синицей
и в тёплой варежке воскрес,
не перечёркнутый ресницей
Твоей с небес.

В. Месяцу

Если спирту — воды немного,
чтобы крепче сжимать виски.
В одиночестве больше Бога,
чем отчаянья и тоски.
Больше жизни иной и тёмной,
где напрасны любовь и стыд.
Где ты ходишь, как смерть, огромный —
и под валенком мир хрустит.

Не гляди на меня, дорога,
как беду, обойди меня.
Одиночество старше Бога,
выше времени и огня.
Словно воздухом дух назначишь,
чтобы в горле стояла дрожь.
И опять, нерождённый, плачешь,
или, мёртвый уже, поёшь.

И бездна очи открывает:
сибирский проглотив аршин,
вода замёрзшая срывает
с себя — с опушкой — кувшин,
заиндевшие одежды —
плечистая, стоит она
как выдох света — вся из дрожи,
вся целокупная, без кожи,
слезой и зрением полна.

Е. Перченковой

Деревья шли, деревья шли,
не вынимаясь из земли,
и сквозь себя на мир смотрели,
и обнимались, и летели
вперёд, а виделось — назад,
сквозь свой последний листопад.
И только дождь стоял, как сад...

И только дождь стоял, как сад.

Словно табачный дым —
время, его слеза
горьким и голубым
лезет тебе в глаза.

Это туман: в росе
всё, что не знает дна.
Слёзы вернулись все,
а на щеке — одна.

Влаги обратный путь,
это сплошная соль —
Богу не проморгнуть
небом такую боль...

Плачешь во сне. Во сне,
прямо во мне, на дне
бездны моей. До дна —
ни одного окна.
Я хорошо живу:
небо ношу в груди,
мягко обут в траву,
тесно одет в дожди.
Скоро примерю снег —
вьюги скользит петля.
Все еще человек.
Или уже земля...

Время ищет открытую фортку
и снаружи вжимает в окно
чёрно-белую рыжую фотку,
где от счастья светло и темно,
где, от осени русской шалея,
на лету, на скаку, на весу
золотые ослы Апулея
лижут листья в холодном лесу;
сколько мощи и слабости в силе
тишины, доходящей до плеч,
словно ангелы позолотили
не ладошки — а тёплую речь.

Нет имени у смерти, потому
что смерти нет, она не отзовётся.
Но как мне с ней молчится и живётся
всей пустотой в твоём пустом доме.
Прошу тебя, от скуки перечти
души моей, уставшей от свободы,
хрустальные до звона переводы
с воды на лёд — усилием погоды, —
и в снегопады землю отпусти.

Прощай, вода, прозрачная, прости,
вся — поцелуй, особенно в горсти.

У, жестяное серебро
и алюминиевая ложка...
Башкой ударила в ведро
земля, как в колокол: картошка.
То здесь, то там осенний гром
и эхо ясного ненастья.
И в погреб падает с ведром
зимы немыслимое счастье.
С картошечки не снять мундир —
и, молодую, ждут в мундире,
и у костра теснится мир,
чтобы остаться в этом мире.

Вода понимает, что скоро зима,
и запоминает сады и дома,
бродячие бани, заборы
и впавшие в облако горы.
И, впавшая в небо, рыдает овца:
она потеряла и дом, и отца
ягнёнка, стоящего в луже, —
он запоминается глубже.
Еще над пригорком летит человек —
большой и незримый, как завтрашний снег, —
и птица, и птица, и птица
уже над водой не двоится.

У слепого слова солоны
и слезы незаметно паденье,
осязание осени, сны,
сочинившиеся до рожденья
твоего без тебя — твоего,
повторившегося ниоткуда:
молодой пустоты вещество,
осязание смерти, его
золотое осеннее чудо.

В сердце воды игла,
загнутая в крючок.
Рыба на дно легла.
Лег на орла зрачок.

В решку вода втекла —
радуйся, дурачок:
в сердце твоём игла,
загнутая в крючок.

Утки делают пятый круг
над водой, чтобы север, юг
захлестнула одна петля,
чтобы в узел вошла земля:
воздух, озеро и огонь, —
подними над собой ладонь,
как бы небо держа в горсти...

Только уточек отпусти.

Кто тебе в спину смотрит с утра,
словно в спине дыра:
вырвано сердце, дальше никак —
в теле твоём сквозняк.
Дождь косоглазый воду несёт,
скоро ведро нальёт.
Нет, не ведро — это бадья,
лёд пообгрыз края.
Как же я жив — мёртвый стою, —
дождик глазами пью...
Дождик в окошко, стынть — бирюза,
скашивает глаза...

С.

— Встань, подойди, останься со мной...

— Нет, ясновидица, нет, зегзица.

Дождусь, пока свет и тьма
не покинут тебя.

Тогда и приду:
стану светом и тьмой,
чтобы остаться
уже
навсегда.

Когда человек умирает,
из него вылетает снегирь,
человек с лица вытирает
Сибирь —
и становится снегом,
потом землёй,
глиняным человеком:
корень сосны петлёй
держит его над миром
мёртвых, чужих, живых,
стужа, тоска — эфиром
пахнут, а на кривых
нижних ветвях с рогожей,
где не видна Сибирь,
просто, как сердце Божье —
снегирь.

Старенькое пальто.
Поднятый воротник.
Бог. Пешеход. Никто.
С сердцем внутри старик.

Бог. Пешеход. Никто.
Тянется шарф — петля.
Что это за пальто? —
это уже земля.

Что это за пальто?
Что это за пальто?
Бог. Человек. Никто.
Бог. Человек. Никто.

Господи, видишь ли?.. Ветер осенний —
взгляд твой, вжимающий воду в пески,
в нежную смерть однолетних растений —
в листья, в любовь, в лепестки.

Лето — одно. Ни зимы, ни сомнений
осени или весны.

Господи, что тебе сын Твой, осенний
взор посылающий в глину растений —
в сердце Твоей тишины...

Сигаретка перед посадкой
оказалась короткой, сладкой,
словно куришь её украдкой
после жизни... Со всех сторон,
словно цены на хлеб без хлеба,
объявляют иное небо,
номер смерти, седьмой перрон...

Птицы его несут
в лапках, единой стаей:
из ничего сосуд —
движется, вырастая
до голубых высот,
где золотые — рядом.
Там уже Бог несёт
сердцем, любовью, взглядом...

Собака воеет не по мне.
Как много голоса в луне —
и потому молчит округа:
и вечность в дикой тишине,
и время, местное вполне,
собакой мучают друг друга
в невероятной тишине...

N.Z.

В немеблированном бараке,
как сон во сне, ты снишься мне.
И слышно, как молчат собаки
и Бога слушают во сне.
И матерятся лесорубы,
и плачет в чайнике вода.
Зато звезда целует в губы,
когда такие холода.

Ночью выбрать непогоду.
Вниз лицом на глину лечь.
Осень вытянула воду
в немоту, в прямую речь.

Влагой, глиной, человеком
долюблю и домолчу..
Станет время первым снегом —
и погладит по плечу.

Прикасаюсь к рябине, спящей, как смерть, в ноябре,
и она содрогается, открывает глаза в земле —
там, где у глины в каждой ноздре
по хрустальной петле.
Это червь дождевой, завязанный в узел,
живой, но уже ледяной.
— Я бы сузил, —
сказал Достоевский. — Попробуй, родной,
захлестни человека петлёй —
в стуже, в любви, в огне...
Рябина откроет глаза, подойдёт — прикоснётся ко мне.

С.

Умываюсь слезами с куста
зацелованной небом калины.
Прямо в горле стоит высота
с примороженным привкусом глины.
Это иней собранию трав
дарит смерть и бессмертное имя.
И молчу, и кусаю рукав,
пролетая над ними.

Эта капелька жизни с небес притекла,
развязала ресницы — и вспыхнула спичка.
Нет, конечно, снегирь. Нет, конечно, синичка.
Сколько жизни в тебе, невеличка? —
сколько в варежке слёз и тепла.

Ты мне жизнью была.
Ты мне смертью была.
Птичка, господи, птичка...

Накройте Андреевским флагом
озябшую душу мою.

И — шагом, и шагом, и шагом —
отсюда... А я — постою,

где всё, что слеза и ресницы,
в серебряный иней срослось.

И белые-белые птицы
меня пролетают насквозь.

Современник деревьев и глины,
то есть Бога — его половины,
холодами прижатой к земле
в феврале.

Собеседник последнего света —
до заката. Горчит сигарета,
или время горчит в феврале
на земле.

Соплеменник зверья и прохожих —
умирающих, вечных, похожих
на Того, для кого я пою
у обрыва, в слезах, на краю.

Птицы сёстры и ангелы братья
повторяют Вселенной распяты,
собирая меня как-нибудь
в Млечный Путь.

Сколько снега. Сколько хруста.
Небо — выдох. Небо — вдох.
Если в чистом поле пусто,
значит где-то рядом Бог.

Снегопада облепиха.
Небо — выдох. Небо — вдох.
Если в чистом поле тихо,
значит это плачет Бог.

N.Z.

Где-то в воздушной яме,
красной и ледяной,
музыка плачет нами,
а умирает мной.

Ей-то какое дело
до моего тепла.
Лишь бы тобой бледнела.
Лишь бы не умерла...

Выйдет — возьмёт за руки,
и не отводит глаз.
Как вещество разлуки,
плачущее из нас.

У плачущих украли скрипку.
И птичья лапка рвёт кольцо.
У плачущих одна улыбка.
У плачущих одно лицо.

Когда бы я себя не глиной
знал, а рябиной и калиной,
меня бы утром снегири
клевали в сердце. Посмотри,
они всегда летают парой
и куст Вселенной изнутри,
как дети на картинке старой,
рассматривают... Снегири.

Осень — это когда болит
всё, кроме неба. Земля, мужая,
палой листвой прикрывая стыд,
смотрит в себя — чужая,
словно снится сама себе...
Боль — это смерть и чудо.
И у воды на губе
ледяная простуда.

Край снегопада. Рай.
Пламя костра ночного —
словно собачий лай
в сердце глухонемого.

Словно земля сама
кровью течёт навстречу
небу, пока зима
заболевает речью.

Видит ли Бог свечу
нашу — под сивой бровью?..
Так я во сне кричу
или молчу — любовью.

Растение воды восходит на морозе
из древа, из стекла, из медленной земли:
и листья, и плоды, и плоские полозья,
которые на свет как стебли потекли.
Какие хрустали — нутро и оболочка
сцепились и, сверкнув, оставили следы:
и голубой зрачок, и лопнувшая бочка —
дошатая звезда и мощь сухой воды.
Разлом её и рост посмертный, и цветенье,
зеркальные сады и память бытия,
и явленное нам иной души растение...
И варежка твоя. И варежка твоя.

N.Z.

Слёзка солью присосётся,
и не видно сквозь ресницы —
против сердца, против солнца,
кто снегирь, а кто синица.

И в саду богоопасном
мы на пару с небом стынем —
то ли синее на красном,
то ли красное на синем.

Света светлее, больше большой белизны —
облако это ты видишь с другой стороны.
Время оттуда заметнее. Вот синева
стужу ласкает — и я обнимаю дрова,
чтобы к нагретейшей печке прижаться щекой:
сивый и бледный, печальный — уже никакой.
Кто-то Вселенную вывернул — в страшный мороз —
всю, наизнанку, как варежку эту, от слёз
мокрую, или от снега, — ознобу в упор,
чтобы увидеть основу узора: узор,
распространяясь, сужается здесь до петли —
ниточки красной, торчащей из белой земли.

В снежном поле пробил тропку.
Дома яблоко поцеловал в попку.
Есть не стал. Положил обратно.
На тарелку. По стенам пятна
побежали, как в саду. Ко мне.
От меня. Зимой. В тишине.
Здесь. В деревне. В моей стране.
Здесь. У неба на самом дне.

N.Z.

Чайную ложку света
с белым кусочком льда
в белый стакан — и это,
кажется, навсегда:
холодом не расплавит,
зноем не ознобит.
Крылья вода расправит —
медленно улетит..
Круглое и простое —
зеркальце или нет?..
Донышко золотое —
всё, что оставил свет.

Горе сначала находит горло,
чтобы раздвинуло и распёрло
перехваченное... В него
безвоздушное вещество
Бог надышит. И вой совьётся
весь в верёвку из горловой
тьмы, чтоб вытянуть из колодца
глотки — с музыкой вольный вой.

Когда замерзает, вода открывает глаза,
как мёртвый, как бог.
Темнеет, глотнув глубины с угольком, бирюза
и делает вдох —
на выдохе, вместе и выдох, и вдох — до свинца,
до ртути, чтоб зеркало в небе сложилось углом,
чтоб видеть и помнить мелькнувшее чудо лица,
когда ты в замёрзшую прорубь ударишь ведром.

Время землёй наружу
вывернуто, оно
не по мою ли душу
небом глядит в окно.

Небу какое дело:
мокрая, до конца
в небе вода сторела —
пепел, зола, пыльца, —

выпала в форме снега,
в сушу вперяя твердь.
Боже, какая нега.
Боже, какая смерть.

Окно состоит из неба,
дерева и стекла,
подоконника с крошкой хлеба,
чтобы птичка его взяла
и склевала — и улетела
через сад в самый главный сад.
Чтобы ты подсмотреть успела:
ах, куда они все летят...

Кто тебе смотрит в спину,
долго глядит в висок?..
Только рубанок двину —
око в доске, сосок
зрячий — сучок древесный,
тесный, тугой, прекрасный —
это зрачок небесный,
карий, медовый, красный
до черноты восточной —
мучит глазным разрезом —
сладкий, нездешний, точный,
вылизанный железом:
всё, что на этом свете
в бездну — скользит ползком, —
дерево после смерти
видит одним глазком;
палец его наполнит
жизнью — накроет весь:
всё, что он вечно помнит,
всё, что незримо здесь.

Репей Рождественский, репейник,
башка последняя твоя...

Струится снег, как муравейник
без муравья.

И повторяется, и длится
вода, сгоревшая дотла,
и на живое спать ложится,
и невесомая зола,
мерцает, падает, искрится,
и красота везде, где снится,
себе находит зеркала
или врастает в роговицу
и округляется в горсти...

Репей Рождественский, прости,
вцепись, как в небо, в рукавицу
чтоб наше поле перейти.

Дерево трогает землю — она
вся золотыми корнями полна —
густо, до камня, за глиной —
там, где алмаз хворостиной
вырос, как иней, из пекла, когда,
пламенем стиснута, стала вода
твёрдой и неугасимой .
Тёплое дерево любит земля:
время большое даёт кругая —
небом ложится на темя.
Малое тёплое время —
местная вечность — садами растёт
и упирается небу в живот,
где, вырываясь из чрева,
выйдет земля из себя — и встаёт,
и превращается в древо.

В разрывах облаков не высота —
слезы прозревшей русская верста,
сосновый бор, как Пушкин многотомный,
и ты у смерти — нищий и бездомный
до крика, до нательного креста.
Показывает звёздами зима
Высоцкого дворовые аккорды,
и тянется в зияниях аорты
слезами прозревающая тьма.
Репейника хрустальная тюрьма.
И снега неподъёмная сума.
Есть в поле над равниною бездонной
у времени открытые места,
и тополь, одинокий и огромный,
как брошенная Богом красота.

И подо мной, и надо мной
белее боли головной
метель вытягивает поле —
и Млечный Путь устами боли
молчит и пьёт по Божьей Воле
себя из бездны ледяной.

Соберут мои старые валенки
на снегу — по напёрстку — проталинки,
выпьют сладкую водку сорочью,
чтоб на печке проплакаться ночью.

В детстве на дереве в небе сижу,
с неба на землю, как птица, гляжу.
Птицы другие проносятся мимо,
значит душа моя неуследима.
Долго смотрю я на землю опять,
чтобы глазами её целовать,
плакать на землю глазами,
капать дождём и слезами,
чтобы в любое большое тепло
дерево вместе со мною вошло.
Чтобы оно не качалось,
чтобы оно не кончалось.

Какие высятся морозы...
Увеличительные слёзы
вжимают в сердце высоту
другую, страшную — не ту,
всю оперённую сияньем,
а главную, когда она
опалена иным сознанием
и до прозренья сожжена.

Шаг ли в сторону — сразу в снегу утонешь,
прямо в вечность потянут озноб и дрожь:
то ли небо твёрдым лицом не тронешь,
то ли землю валенком не найдёшь.

Прямо в небо с крыльца — в белизну по брови,
белизна в тебе — по зрачки, и стоит зима
в снегирах твоих, чтоб хватило крови,
просто красного — не сойти с ума.

За минутной — как вкопанная часовая,
и секундная настрижёт просвет.
На утёсе стоишь: вот река Чусовая.
Дальше — времени нет.

Глаза — чтоб плакать и смотреть,
как гаснет лампа в коридоре.
Дай мне от счастья умереть.
Или от горя.

Пока ты шепчешь тишину,
я покажусь в окошке, с краю.
Молчи, молчи на всю страну.
Молчи. Я не перебиваю...

Снегопад допотопный, драный
без верёвки висит, родной,
на прищепочке деревянной
на единственной — на одной.
Замело. Магазин без хлеба.
Кое-где проступает мир.
Кто его застирал до неба?
Кто его проглядел до дыр?
Кто тут плачет и дышит брагой
и прислушивается тут?..
Это Бог говорит собакой:
может, к пятнице подвезут.
Принесу две еловых лапки.
Как я праздники не люблю...
Шапка падает — тень от шапки
вдоль лица до утра ловлю.

Без тепла
светит любое чудо:
смерть прошла —
новую ждать откуда?

Жизнь всегда
между двумя зажата,
как вода
в проруби, страшновата.

А в горсти
нежной — прозрачна, млечна,
чтоб нести
вечно живую — вечно.

Ах, эта птичка, как её
мне разглядеть... Ах, эта птица...
Ослепнуть, чтобы видеть всё,
что ненасытных глаз боится.
Чтобы война, война, война,
война, война, война ослепла —
и шелестела тишина
из пепла музыки. Из пепла.

Что-то схожу с ума.
Вижу твои следы.
Кто-то тебя, зима,
вылепил из воды...

Лыжники кругая
в поле дают. Лыжня.
Кто-то тебя, земля,
вылепит из меня.

Небо — на вдох — ловлю,
словно тебя леплю
кровью, глазами, ртом
в воздухе золотом.

Озеро обмелело. Теперь оно,
сузив глаза, видит себя в прицеле
уток диких — им не темно:
поцеловали в глаза — и сели.

Время стоит в лесу без исподнего,
вечером вечность хочет лесной малины.
Озеро завернулось — из-под него
светится оголённое тело глины.

Тело моё, тело твоё — одна
глина, которую тронем и вспомним снова.
Тёмная ночь до того бледна,
что на губах побелело слово.

Чтобы прощай прошептать до сна,
до золотой — навсегда — разлуки.
Видишь, к воде наклонилась она —
моет лицо и руки.

Сигаретка кусает глаза
дымом, горем
неотвязным. Любая слеза
пахнет морем.
Сколько вёсел растёт из земли —
просто чудо.
Сколько моря в глазах унесли
мы отсюда.
Где начальник затынет, чудака,
горловое.
Где деревья растут без собак
и конвоя...

Просто море мотай на кулак —
молодое, родное, живое.

Как в морозы прозрачна земля —
словно зеркало выпито. Кто-то
гладит лыжи, и в поле петля —
продолжение лыжни самолёта.
Верхней вьюгой поют дембеля —
Тридцать третья убитая рота.

Вызревают окольные льды,
и натянуты ветви воды
голодающей прорвой стремнины,
наливаются светом плоды
и звенят, как пустые кувшины.
Всюду нежные дыры слюды,
Посинели в сугробе ходы
над рекою без звука и веса...

Оставляют деревья следы,
если ночью выходят из леса.

Душа на морозе в губах шелестела
и выдохом долгим была.
Её шаровое прозрачное тело,
сверкая, сгорало дотла.

Проплакана очередная пропажа,
и звёзды — в осколках стекла.
Но выгладит щёки шершавая сажа —
у инея сажа бела.

Живое из нежности, смерти и дрожи,
из холода, слёз и тепла.
Чем больше ты умер, тем время моложе.
Такие дела.

Ветер, конечно, прав:
вывернет смерти ради
дерево, как рукав,
дерево в листопаде.

Что я тебе и кто...
Листьев шумит громада.
Тенью летит пальто
с вешалки листопада.

Карими отмерцав —
светом слезы пропащей,
не попадёшь в рукав
правой рукой дрожащей.

Ах, полбуханки, полсолонки —
ночь отвалилась от окна.
Кувшин разбит — и на клеёнке
скелет вина.

Иссякла кровь. На стёклах слёзы,
не выплаканные до дна.
И поднимаются морозы —
как дух убитого вина.

У, эта божья штукатурка —
во рту, где слово и снежок,
и ягоды сухая шкурка —
и ягоды живой ожог.

1.

А умер — это где?
В какой такой воде
густой водою дышишь
и долго небо слышишь,
и жабрами колышешь,
и трогаешь его
живое вещество.

Ты умер, дурачок, —
так не бери крючок
в твердеющие губы,
как рюмку лесорубы,
они ещё живут:
целуют водку, пьют,
смеются и скандалят...

И валят небо в пруд,
Когда деревья валят.

2.

Шаг в сторону — побег
в сугроб, к земле поближе,
где остановлен снег
травой и глиной. Рыжей,
червонной, голубой
и золотой немного.
Где плачем мы с тобой
в больших ладонях Бога.

На ветке варежка. Рябине
не тяжело от шерсти красной.
И станет больно в середине
души большой и ненапрасной.
И скрипнет снег — и отзовется
под лёгким Богом половица,
и задрожит, и не прогнётся,
и млечным холодом продлится.
И на рябине рассмеётся
и прыгнет в варежку синица,
как в сон, и дереву приснится —
зимы озябшая ладошка...
И покачается немножко.

Глухонемые деревья
соприкасаются едва:
ветвятся в воздухе слова,
и мысль, знакомая на вид,
как дерево, стоит.

И в голове — земля небес:
верхушки звёзд, прозрачный лес,
кометы бритвенный порез,
деревьев смычка, стук и стык —
неведомый язык.

Сосна вошла в свою красу
в земле и в небе, на весу,
и отражается в лесу,
как в зеркале. И тишина
сама себе слышна.

Чуден волчий крыжовник во тьме,
словно звёзды земные в зиме
отразились, и Бог раскатал
злые шарики волчьих зеркал
жёлтой зеленью с голубизной
по сугробам с убитой страной.

Никого. Только бездна одна
до глазного бездонного дна.

Времени здесь в обрез —
трудно его обидеть.
Дерево смотрит в лес,
чтобы себя увидеть.

В поле полно небес —
можно сосну заметить.
Дерево входит в лес,
чтобы себя не встретить.

В поле сосна. Одна.
Снег истоптали боги.
Чтоб не нашла она
лёгкой своей дороги.

Где-то за Каменкой плачет коза.
Снежный сугроб открывает глаза.
Ноздри, как бык, раздувает,
бога переобувает.

Валенки — прочь... Сапоги, сапоги...
Речка в запруде печёт пироги
с рыбой и с рыбой, иные —
медленные, ледяные —
с небом и с облаком, с мёртвой золой,
с веткой, с монеткой, с фольгой золотой,
с чьим-то письмом и с косынкой,
с первой зелёной травинкой,
вот и очки с изоляцией, слеза...
Где-то за Каменкой плачет коза.

Лес прислонился к снегу —
белый упал с ветвей.
Зверю и человеку
стало в лесу светлей.

Стало заметней с неба,
сколько пекут из снега
глины на бугорках
ни у кого в руках...

Страшно толкает в спину —
новая благодать:
снег переходит в глину,
чтобы руками стать
Божьими...

Ляжешь, как на глину.. Только руки —
руки затекают под меня,
вымывая душу из разлуки,
словно дым и горечь из огня.

Словно кто-то белый свет листает,
пустоту, как стёклышко, берёт:
палая листва перелетает —
как сквозь пальцы — с этого на тот.

У воды во рту твердеет бритва.
Немота с тебя не сводит глаз.
Непроизнесённая молитва
прямо в бездну молится за нас.

Одинокий старик
копит последний крик.
Дверца открыта — печь
знает иную речь...

Кто там стоит оплечь? —
Очи закрыть — и лечь...

Только огню видна
тьма... А за ней одна
страшная тишина.

Если найдёшь меня,
я тебя обниму.
Видишь, ведро огня
выплеснули во тьму.

Это костёр. Твоя
тень шелестит во мне,
полная бытия,
вызревшего в огне.

Лапки, веточки сорочки
пишут то, что станет речью,
на снегу последнем. Ночью
очи плачут человечьи.
Очи волчьи тоже плачут,
очи заячьи трепещут
и под веки звёзды прячут,
и глядят. И небом плещут
вёсла клёна или бритвы
прошлогодней стрекозы,
чтобы вверх текли молитвы
золотым путём слезы.

Всё выше свет, темнее, уже,
день теплокровен и умыт.
Где снег растаял, там болит
земля в земле, и первый стыд,
стекливший лужи,
теперь глядит очами стужи
и в бочки ржавые гудит.

Два зренья — неба и земли,
столкнувшись, воздух вознесли —
столп ледяной, внутри горячий, —
как взор любви, уже незрячий,
как ночью горло без петли.

Сквозь лёд и снег проходит сад —
стучит капель, ломает спицу.
И долго тьма вдыхает взгляд
и выдыхает свет и птицу.

Всё гуще книга в дереве. Она
растёт сама собой в себе. Весна,
даруя птицам нежный купол сада,
цветущей смерти медленно глотнув,
кончается. И в небо тянет клюв
живую букву шелкопряда.

И шелеста грядущего надсада,
и переплёты веток, и слюна
зеркального земному раю ада —
всё паутины зыбкая громада,
где, стиснутая светлой силой взгляда,
густеет книга в дереве. Она
не тронута, но Богом прочтена.

Сгибая ветер в две погибели —
в деревья, в ветви, в листья, в щели, —
в воде дожди себя увидели —
и обмлели, и прозрели,
и ознобили зобик зяблику,
и так возликовала жалость,
что к оторвавшемуся яблоку
большая яблоня сбежалась.
Так отраженье отрывается
от босоногого предмета
и прямо в озеро вжимается
невероятной силой света.

Ек. Бабенко

Сегодня Его убили.
Гвоздями к доске прибили.
Приставили к небу — вот
пусть вечно теперь живёт.

Опять мы ночью босоноги,
как птицы, ангелы и боги,
когда из чайника вдвоём
по очереди воду пьём —
из носика, из тёплой лейки,
не торопясь, на три копейки,
звезды остывший кипяток.

Последний, может быть, глоток.

N.Z.

Имя твоё — тишина.
Тень твоя ночью виднее света.
Сон упирается в сердце — это
выпитая луна.
Светится и поёт.
В сердце мерцает иней.
Сердце себя допьёт.
И остаётся имя.
Имя — эхо печали, сон
звука.
Только Бог его слышит: Он
сам себе свет и мука.

Л. Бабенко

Камень места не находит
ни себе, ни сильным водам
и по кругу душу водит,
как траву, по огородам.

Две недели верба вяжет
зябким ангелам перчатки.
И заплачет Бог и скажет:
мы бессмертны. Всё в порядке.

И отпустит вербу с вербы,
и плывут над вербой вербы:
мы бессмертны. Мы бессмертны.
Мы бессмертны. Мы бессмертны.

Нежную отпусти —
ей на земле не спится.
Ласточка, нет — синица.
Медленно из горсти
выпорхнула водица.
Богу в лицо. Она
все Его помнит лица.
Вот Его имена:
Вечность и Тишина.
Выпорхнуть. Быть. И Длиться.

В зеркало смотришь — исчез.
Вертится в холоде ядрышко боли.
Ветер с утра одевается в лес,
а раздевается — в поле.

Ветер — утраченный рай:
в смерть упирается, чтобы сначала
вечность начать. Убирай
зеркало, чтоб не молчало.
В тряпку, в рогожу, в сарай,
чтоб не струилось наружу.
Чтоб не лилось через край
всё, что морозило душу.

Отпускаю, отпускаю
взгляд в открытое окно.
Оком ласточку ласкаю
с целым небом заодно.
Лягу в озеро на дно
и как тень скольжу по краю
бездны, выпитой давно.

Жара. Во рту растаял шмель.
И речь ребёнка слаще света.
И туже мёда и шербета
воды измятая постель,
где спит — ныряя — ребятня
в полёте нежном и нелепом.
И невесома у меня
в горсти из тёплого огня
вода, разбавленная небом.

Капля слизывает себя долго.
Удлиняется. Словно Волга,
слабосильная, сгоряча
Каму слизывает с плеча.
Без стекла, без горсти, без глины
капля тянется как сосуд,
из которого очи пьют:
из артерий, из сердцевины
бытия — и себя до дна
выпивают — и в горле сухо.
Это только начало слуха,
и щекочет глухое ухо
капля новая из окна.

Золото. Серебро. Алмаз —
пушкинский щучий глаз.
Остальное — карась, плотва.

Если водой в эту воду лечь,
то в тебе проплывут слова
и большой, как Россия, лещ.

Вот такая простая вещь.

Сон после жизни — мука,
всё — пустота и дрожь,
ни тишины, ни звука —
небом одним поёшь.

Мёртвому поле снится —
вот он стоит, немтырь:
в левой руке синица,
в правой руке снегирь.

Вещество взгляда

Глаза человека — живая совершенная оптика, непостижимое вещество взгляда — устроены чудесно. Взгляд ловит, отмечает, проникает, оценивает, именуется. Временной интервал между взглядом и названием предмета или явления так бесконечно мал, что можно сказать: человек называет — глазами.

Юрий Казарин — поэт взгляда всеохватного. Зрение переводящий — в осязание и слух, чувство тепла и холода, запоминание и удивление, сочувствие, и причастность, и присутствие. Слово «Бог» произносящий чаще иных: называющий этим словом само ощущение присутствия человека в мире: не повседневный трепет *создания* — дрожь *создателя*. Поэт-боготворец.

Бог состоит из: воды, воздуха, огня, земли, дерева, птицы, травы, росы, облака, колодца, снега, следа на снегу, распадка в сумерках, костра в ночи, тёмной фигурки рыбака на деревянных мостках, чертополоха, рябины, боли, радости, жизни, смерти, любви.

Отличие этого всеобъемлющего взгляда от рукотворной оптики — в том, что ему нигде не тесно, как не тесно воде в берегах или Богу в человеке: он не требует рамок, границы, кадра, особенного света: всё — вместит, всё — по отдельности — выхватит из тьмы своим всезнающим, зрящим, трогаящим, одушевлённым веществом. Как ни назови рамку, границу — классическим русским стихом, европейской элегией, японской миниатюрой — что до неё, когда говорит поэт земного шара. Каждым словом и каждой строкой утверждающий его округлую — общую — дышащую — смертную — цельность.

Смертность — страшное и сияющее, божественно необходимое условие жизни и любви: как обожествлено всё бесконечное — так всё смертное запредельно очеловечено, человеку дано — на подержание, на прикосновение, на сожаление, на острейшую любовь. Как одно огромное «зато», как «вместо»: любовь — вместо смерти и вместе с ней. И поэтому — глина:

вещество объединяющее и разделяющее, колыбельное и погребальное, выталкивающее из себя и принимающее к себе, то есть — как ни прикоснись — родное.

Которое по весне, или осени, или по непогоде схватит шагающую ногу, смертной земляной хваткой передавая — «моё» — и — «родной». Которое — всё заключая в себе — долго терпит и милосердствует, обнимает и отпускает, свидетельствует о прощании и о встрече.

Екатерина Перченкова

СОДЕРЖАНИЕ

«Пёрышко чьё-то прилипло к порогу...»	6
«Лицо прекрасное. Лицо беды»	7
«Не с горя, нет, не с перепугу...»	8
«Не над бочкой, а прямо над бездной...»	9
«Детское мужество, взрослые страхи...»	10
«В прошлом году, вчера...»	11
«Кто мне веки горькие поднимет...»	12
«И после смерти я умру...»	13
«Я к вам ненадолго — я в гости...»	14
«Близорукий туман, дальнотзорная тьма...»	15
«Кто-то вскрикнул: «Баба Настя!»	16
«Но кто-то за спиной...»	17
«То шмель пинается, то муха...»	18
«Сивый, больной, поддатый...»	19
«Прошла гроза, хорошая гроза...»	20
«Всё перед снегом пахнет солью...»	21
«Шаги, шаги, шаги — а человека нету...»	22
«Чертополоху-чуду...»	23
«Уже сентябрь. Светлеет только в семь»	24
«На расстоянье вытянутой — здесь...»	25
«Ночью проснусь от крика...»	26
«Хочешь, осиною буду...»	27
«Летишь и видишь сквозь крыло...»	28
«Когда с фонариком рыбачишь...»	29
«Ещё до слова, до начала...»	30
«Не снегопад, а призрак речи...»	31
«Кто ягнёнка белого поставил на крыльцо?»	32
«Так полюбить белизну...»	33
«Это твоя зола...»	34
«Гора сухой воды...»	35
«Одеты в пустоту поля и перелески...»	36
«Уста в земле и привкус клятвы»	37
«Овчина звёзд — какая ноша...»	38
«Отверкали, отмерцали...»	39
«Усилиями зренья и погоды...»	40
7-е января	41
«У снегов растут ресницы...»	42
«Семь дырочек в древесной самокрутке...»	43
«Нет имени у глаз — они ночное небо...»	44

«Не лицом – посмертной маской...»	45
«Сначала тень – потом сорока...»	46
«Взгляд пропадает где-то...»	47
«Прекрасен на земле чертополох...»	48
«На кладбище, где смерти нет совсем...»	49
«Капелью хлещет, хворостиной...»	50
«В России дождь. В Его проходке...»	51
«Смерть тебе сходит с рук»	52
«Душа – невидимка, но дымка...»	53
«Зеркало сказало: умираю»	54
«Слышу звон топора, вьюрка...»	55
«О шелестящий звук...»	56
«Здесь воздух болен осязаньем»	57
«Зелени первой овалыцы...»	58
«Наполовину снег: о племя, стремя, бремя...»	59
«Воды недвижимое мгновенье...»	60
«Снимаешь иней, тень, углы...»	61
«Где-то молча пили, пели...»	62
«В слепой росе, в дремоте комариной...»	63
«Смотреть слезами в пустоту...»	64
«Попробуй птичье говоренье...»	65
«Бабочка сядет и крылья в шепоть...»	66
«Лодка. Рыбачий домик»	67
«Когда к тебе вернётся память взгляда...»	68
«Прекрасен ужас воскрешенья...»	69
«Я в зеркале себя не узнаю...»	70
«Так море движется и снится...»	71
«Если спирту – воды немного...»	72
«Не гляди на меня, дорога...»	73
«И бездна очи открывает...»	74
«Деревья шли, деревья шли...»	75
«Словно табачный дым...»	76
«Плачешь во сне. Во сне...»	77
«Время ищет открытую фортку...»	78
«Нет имени у смерти, потому...»	79
«У, жестяное серебро...»	80
«Вода понимает, что скоро зима...»	81
«У слепого слова солонны...»	82
«В сердце воды игла...»	83
«Утки делают пятый круг...»	84
«Кто тебе в спину смотрит с утра...»	85

«Встань, подойди, останься со мной...»	86
«Когда человек умирает...»	87
«Старенькое пальто»	88
«Господи, видишь ли?.. Ветер осенний...»	89
«Сigaretка перед посадкой...»	90
«Птицы его несут...»	91
«Собака воет не по мне»	92
«В немеблированном бараке...»	93
«Ночью выбрать непогоду»	94
«Прикасаюсь к рябине, спящей, как смерть, в ноябре...»	95
«Умываюсь слезами с куста...»	96
«Эта капелька жизни с небес притекла...»	97
«Накройте Андреевским флагом...»	98
«Современник деревьев и глины...»	99
«Сколько снега. Сколько хруста»	100
«Где-то в воздушной яме...»	101
«У плачущих украли скрипку»	102
«Осень — это когда болит...»	103
«Край снегопада. Рай»	104
«Растение воды восходит на морозе...»	105
«Слётка солью присосётся...»	106
«Света светлее, больше большой белизны...»	107
«В снежном поле пробил тропку»	108
«Чайную ложку света...»	109
«Горе сначала находит горло...»	110
«Когда замерзает, вода открывает глаза...»	111
«Время землёй наружу...»	112
«Окно состоит из неба...»	113
«Кто тебе смотрит в спину?»	114
«Репей Рождественский, репейник...»	115
«Дерево трогает землю — она...»	116
«В разрывах облаков — не высота...»	117
«И подо мной, и надо мной...»	118
«Соберут мои старые валенки...»	119
«В детстве на дереве в небе сижу...»	120
«Какие высятся морозы...»	121
«Шаг ли в сторону — сразу в снегу утонешь...»	122
«Глаза — чтоб плакать и смотреть...»	123
«Снегопад допотопный, драный...»	124
«Без тепла светит любое чудо...»	125
«Ах, эта птичка, как её...»	126

«Что-то схожу с ума»	127
«Озеро обмелело. Теперь оно...»	128
«Сигаретка кусает глаза...»	129
«Как в морозы прозрачна земля...»	130
«Душа на морозе в губах шелестела...»	131
«Ветер, конечно, прав...»	132
«Ах, полбуханки, полсолонки...»	133
«А умер — это где?»	134
«На ветке варежка. Рябине...»	135
«Глухонемые дерева...»	136
«Чуден волчий крыжовник во тьме...»	137
«Времени здесь в обрез...»	138
«Где-то за Каменкой плачет коза»	139
«Лес прислонился к снегу...»	140
«Ляжешь, как на глину.. Только руки...»	141
«Одинокий старик...»	142
«Если найдёшь меня...»	143
«Лапки, веточки сорочки...»	144
«Всё выше свет, темнее, уже...»	145
«Всё гуще книга в дереве. Она...»	146
«Сгибая ветер в две погибели...»	147
«Сегодня Его убили»	148
«Опять мы ночью босоноги...»	149
«Имя твоё — тишина»	150
«Камень места не находит...»	151
«Нежную отпусти...»	152
«В зеркало смотришь — исчез»	153
«Отпускаю, отпускаю...»	154
«Жара. Во рту растаял шмель»	155
«Капля слизывает себя долго»	156
«Золото. Серебро. Алмаз...»	157
«Сон после жизни — мука...»	158
Вещество взгляда (послесловие)	159

Книги «Русского Гулливера»

Игорь Алексеев «Как умирают слоны»
Олег Асиновский «Плавание»
Георгий Балл «Круги и треугольники»
Анатолий Барзах «Причастие прошедшего зрания»
Александр Верников «Побег воли»
Валерий Вотрин «Жалитвослов»
Игорь Вишневецкий «На запад солнца»
Марианна Гейде «Бальзамины выжидают»
Александр Давыдов «Три шага к себе»
Галина Ермошина «Оклик небывшего времени»
Иван Жданов «Воздух и ветер»
Зиновий Зинник «Письма с третьего берега»
Александр Иличевский «Бутылка Клейна»
Юлия Кокوشко «Шествовать. Прихватить рог...»
«Комментарии» № 28 (памяти Алексея Парщикова)
Илья Кутик «Эпос»
Павел Лемберский «Уникальный случай»
Маргарита Меклина «Моя преступная связь с искусством»
Алексей Парщиков «Ангары»
Константин Поповский «Следствие по делу о смерти принца Г.»
Александр Скидан «Расторжение»
Андрей Тавров «Парусник Ахилл»
Александр Уланов «Между мы»
Эдвард Фостер «Кодекс Запада. Битники. Стихотворения»
Борис Херсонский «Вне ограды»
Валерий Шубинский «Золотой век»
Татьяна Щербина «Исповедь шпиона»
Владимир Алейников «Поднимись на крыльцо»
Анна Аркатова «Знаки препинания»
Сухбат Афлатуни «Пейзаж с отрезанным ухом»
Алексей Афонин «Очень страшное кино»
Андрей Бауман «Тысячелетник»
Сергей Бирюков «ПОЭЗИС»
Игорь Богданов «Федоров в кино»

Игорь Булатовский «Стихи на время»
Елизавета Васильева «Настала белая птица»
Игорь Вишневецкий «Первоснежье»
Герман Власов «Музыка по проводам»
Владимир Гандельсман «Ода одуванчику»
Алла Горбунова «Колодезное вино»
Дмитрий Григорьев «Другой фотограф»
Лидия Григорьева «Сновидение в саду»
Андрей Грицман «Голоса ветра»
Владимир Губайловский «Судьба человека»
Дмитрий Драгилёв «Все приметы любви»
Игорь Жуков «Готфрид Бульонский. Книга стихов»
Аркадий Застырец «Онейрокритикон»
Валерий Земских «Кажется не равно»
Валерий Земских «Неразборчиво»
Лина Иванова (Полина Андрукович) «В море одна волна»
Антонина Калинина «Бересклет»
Константин Кравцов «Аварийное освещение»
Сергей Круглов «Народные песни»
Илья Кучеров «Стихотворения»
Елена Лапшина «Всякое дыхание»
Константин Латыфич «Человек в интерьере»
Константин Латыфич «Равноденствие»
Анатолий Ливри «Посмертная публикация»
Ольга Мартынова «О Введенском, о Чвирике и Чвирке»
Зоя Межирова «Часы Замоскворечья»
Вадим Месяц «Безумный рыбак»
Арсен Мирзаев «Дерево времени»
Надежда Муравьева «Carmenes»
Вадим Муратханов «Ветвящееся лето»
Канат Омар «Каблограмма»
Юрий Орлицкий «Верлибры и иное»
Алексей Остудин «Эффект красных глаз»
Константин Рубахин «Самовывоз»
Ры Никонова «Слушайте ушами»
Александр Самарцев «Части речи»

Екатерина Симонова «Сад со льдом»
Дмитрий Силкан «Всенощные бдения Фауста»
Сергей Соколкин «Я жду вас потом»
Юрий Соловьев «Убежище»
Александр Стесин «Часы приёма»
Дмитрий Строцев «Бутылки света»
Сергей Строкань «Корнями вверх»
Андрей Тавров «Зима Ахашвероша»
Андрей Тавров «Часослов Ахашвероша»
Фотис Тебризи «Черное солнце эросов»
К.С. Фарай «Поющий Минотавр»
Людмила Херсонская «Все свои»
Людмила Ходынская «Маскарад близнецов»
Наталья Черных «Камена»
Наталья Черных «Похвала бессоннице»
Феликс Чечик «Алтын»
Марк Шатуновский «Сверхмотивация»
Алексей Шепелёв «Сахар: сладкое стекло»
Аркадий Штыпель «Вот слова»
Ирина Роднянская «Мысли о поэзии в нулевые годы»
Андрей Тавров «Письма о поэзии»
Вадим Месяц «Поэзия действия»
Зинаида Миркина «Избранные эссе»
Наталья Горбаневская «Прозой о поэзии»
Юрий Казарин «Каменные элегии»
Владимир Беляев «Именуемые стороны»
Александр Зайцев «Тектоника»
Екатерина Перченкова «Сестра Монгольфье»
Анастасия Афанасьева «Полый шар»
Андрей Тавров «Матрос на мачте»
Андрей Тавров «Бестиарий»
Демьян Кудрявцев «Гражданская лирика»
Виктория Андреева «К небу поближе»
Александр Радашкевич «Земные праздники»
Наталья Горбаневская «Города и дороги»
Сергей Сольвьёв «Адамов мост»

Андрей Юрич «Ржа»
Марианна Ионова «Мэрилин»
Егор Мирный «На кострах заросшем Плутоне»
Евгения Изварина «Дом для одной свечи»
Андрей Коровин «Любить дракона»
Мария Ватутина «Цепь событий»
Юрий Казарин «Культура поэзии»
Ниджат Мамедов «Место встречи повсюду»
Хельга Ольшванг «Версии настоящего»
Александр Петров «Пятая сторона света»
Давид Паташинский «Читай меня по губам»
Наталья Черных «Солнечная»
Аня Цветкова «кофе сигареты яблоки любовь»
Максим Калинин «Часовые над Шексной»

Литературно-художественное издание

Юрий Казарин

ГЛИНА
Стихотворения

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц
Главный редактор серии Андрей Тавров
Оригинал-макет и вёрстка: Екатерина Перченкова

Издательство «Русский Гулливер»
Тел. +7 (495) 159-00-59
E-mail: russian_gulliver@mail.ru
<http://www.gulliverus.ru>

Подписано в печать 12.05.2014
Формат 145 x 200
Гарнитура Newton C
Тираж 300 экз.
Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии Cherry Pie
112114, Москва, 2-й Кожевнический пер., 12

